Мы договаривались об интервью с Михаилом в те дни, когда жюри Патриаршей премии по литературе 2019 года включило его имя в короткий список претендентов. Темой нашего интервью должна была стать его работа над новой книгой, посвящённой бабушке писателя, Марии Ивановне Вишняковой, женщине, сыгравшей исключительную роль в судьбе трёх Тарковских: поэта Арсения, режиссёра Андрея и писателя Михаила. В своих произведениях Михаил не раз говорил, что именно Мария Ивановна открыла для него двери в храм. И вот 23 мая, в канун Дня славянской письменности, Михаил Тарковский объявлен лауреатом Патриаршей премии.

Награда

— Михаил, позвольте поздравить вас с присуждением высокого звания лауреата Патриаршей премии. Что значит для вас это звание? Можете сказать, какую роль играло православие в судьбе вашего рода в двадцатом веке?

— Думаю, что Патриаршая премия — первой руки награда сегодня. Конечно, это огромная честь и ответственность. Ну и… можно успокоиться по премиальной части. И работать.

По роли православной веры — могу ответить в ключе нынешней своей работы над книгой: предки бабушки Марии Ивановны были священниками в Калужской губернии, причём в нескольких поколениях. О её прадеде Гаврииле Петровиче вот что написано в послужном списке тысяча восемьсот тридцать третьего года: «Поведения отличного, доброго, в должности при всегдашнем усердии и деятельности всегда исправен и при всём очень благонадёжен». Россия по-настоящему была православной страной. Вторая моя бабушка, Мария Макаровна, когда я маленьким чертыхнулся, одёрнула меня: «Нельзя чёрта поминать». Даже в шестидесятые годы двадцатого века у выходцев из крестьянства представления о Боге и враге рода человеческого крепко сидели в крови.

Посвящение

— Кратко — в вашем очерке «Бабушкин внук», подробно — в «Осколках зеркала» Марины Арсеньевны Тарковской, вашей мамы, в кино — в бессмертном «Зеркале» Андрея Тарковского. Все эти произведения так или иначе посвящены вашей бабушке, Марии Вишняковой. Что заставляет вас сегодня снова обратиться к воспоминаниям о ней?

— О самой книге нельзя сказать, что она только о бабушке. Хотя посвящена именно ей — примерно так же, как и фильм «Замороженное время», но с той разницей, что в этой книге (дай Бог её написать) бабушки намного больше, чем в фильме. Обратился к этой теме вновь по простой причине — время подошло. *Каждый писатель в одно прекрасное утро произносит слово «пора».* Пора написать о детстве. Это было и с Толстым, и с Буниным, и с Астафьевым. Только некоторые сразу разрешались этими воспоминаниями, а другие отодвигали время, и причины могли быть различными.

Книга, о которой идёт речь, называется «42-й до востребования». Она состоит из двух, что ли, основ, половин: первая — сборник рассказов о детстве, расположенных в хронологическом порядке; вторая — рассказ о бабушкиной доле, своеобразная даже её биография. В первой половине, естественно, образ бабушки тоже должен быть дан. Я так уверенно говорю: «дан», «состоит», — будто книга уже готова. К сожалению, это не так, и предстоит ещё большая работа.

— Каково это — писать воспоминания о близком человеке, имя и образ которого уже известны всему миру?

— Во-первых, я не думаю, что образ Марии Ивановны Вишняковой известен всему миру, — по-моему, это преувеличение; а во-вторых, мне не приходило в голову рассуждать с этой точки. Наоборот, бабушка моя мне казалась всегда полной противоположностью «знаменитым представителям» именно в плане своего положения в тени. Скромности, простоты. К тому же для меня бабушка — это *моя* бабушка, и это чувство собственности, чувство *нашего* с ней давало и даёт такое плотное поле, что всё остальное остаётся за межой.

— Так что́ значит в жизни для вас сегодня это имя: «моя бабушка Мария Ивановна Вишнякова»?

— Вопрос-то серьёзный. Мне долгое время бабушка снилась каждую ночь, я писал об этом в повести «Отдай моё». Конечно, просыпался под впечатлением, иногда даже душевно измученный… Теперь снится реже, и меня это беспокоит. Что она значит для меня? Ради этого книгу заварил целую. Вечный вопрос, вечная загадка: какая она была? Как жила? Почему я так мало о ней знаю? Конечно, и её душевное родство с моею матушкой… И что у меня маленький сын… И смотрит ли она на нас? Что чувствует? И эта вот его связь через меня с ней — тоже целый мир, целое дело. И, глядя на него, я будто гляжу на себя маленького бабушкиными глазами. В общем, отвечая на вопрос «что она значит сегодня»: и загадка, и боль, и жизнь, и исток. Да всё значит.

Круг

— Круг знакомых ваших деда и бабушки, Арсения Александровича и Марии Ивановны, — Сологуб, Бальмонт, Даниил Андреев, Маяковский. В родовом дереве Марии Ивановны среди столбовых дворян Дубасовых можно обнаружить фигуры исторические, такие, например, как адмирал Дубасов. Вы сами не могли бы выделить среди предков деда и бабушки три-четыре имени, особо значимых для истории вашего рода?

— Хочется ещё раз сказать, что в книге речь идёт именно о предках Марии Ивановны. В книге присутствует исторический, так сказать, архивный момент, так же как и история бабушкиных предков, каковые были дворянского происхождения по линии бабушкиной мамы, в то время как родова её по линии, как я уже говорил, отца происходила из династии священников, хотя сам отец её, Иван Иванович, был судьёй в двух достославных городах — Козельске и Малоярославце. Малоярославец славен премногим, в частности, следами французских ядер на воротах монастыря (напротив которого и жили Вишняковы), а с градом Козельском, я думаю, у всех нас связан образ «злого» города-героя, не сдававшегося Батыю и утопленного им в крови. Ну и, конечно же, города Скотопригоньевска из «Братьев Карамазовых», прототипом которого, естественно, и был Козельск, поскольку Оптина пустынь от него в четырёх верстах.

Что касается предков, то бабушке был духовно близок её дядя по отцу — Евгений Иванович Вишняков, или дядя Геня, который учился в Московском университете на филологическом факультете и, видимо, имел в бабушкиной жизни большое значение. Для меня целая отдельная история — бабушка Вера, бабушкина мать, моя прабабушка.

С Сологубом дед, Арсений Тарковский, виделся однажды, совсем юным, когда только приехал в столицу и пришёл к классику. Как своё время молодой Бунин пришёл к Толстому. А к Бунину — Валентин Катаев. Прикоснуться, прислониться, получить совет. Или благословение. Почему именно к Сологубу — я не знаю.

Про Бальмонта. Он жил в Шуе Ивановской губернии, и второй муж моей прабабушки Веры Николаевны, бабушкин отчим Николай Матвеевич Петров, студентом у него в дому учительствовал.

Мария и Арсений

— Мария Ивановна и Арсений Александрович расстались, когда их дети, Марина (то есть ваша мама Мария Арсеньевна Тарковская) и Андрей (режиссёр Андрей Тарковский) были маленькими. До вас дошли отголоски этого расставания?

— Конечно дошли, но задумываться об этом я стал уже подростком, в раннем детстве ты всё вокруг воспринимаешь как есть, и мне не приходил в голову сам вопрос: а почему бабушка одна живёт, без мужа?

— А уже вы — часто видели Марию Ивановну и Арсения Александровича вместе?

— Не часто, но были кое-какие запомнившиеся встречи.

Помню, когда дед сломал ребро, я уже был подростком, и мы с бабушкой поехали на выручку. Даже описал эту сцену в повести «Девятнадцать писем». Это не биографическое воспоминание, а скорее художественное размышление на тему…

«Дмитрий вспомнил своего деда, тоже ходившего на протезе.

Он ушёл от бабушки, когда матери было четыре года, и через некоторое время попытался вернуться в семью, но бабушка его не пустила. Тут началась война, он потерял ногу и вскоре женился на медсестре из полевого госпиталя. Мать время от времени возила маленького Дмитрия к дедушке, чья нога составляла главную загадку его детства. То он видел деда в двух стройных брючинах, в одинаковых блестящих ботинках, то на костылях с подвёрнутой штаниной. И потом, когда он понял, что дело в этой красноватой и лакированной, как плавунец, штуковине, загадка всё равно осталась и была теперь в том, как же дед пережил эту нестерпимую боль и нестерпимую жалость к своей отрезанной ноге. Потом, уже гораздо позже, когда жена-медсестра лежала в больнице, дед упал у себя дома и сломал два ребра. Мать работала, и они поехали с бабушкой, которая так больше и не вышла замуж. Дед лежал на полу рядом с телефоном и стонал. Они подняли его и усадили на стул. Он был в простых ситцевых трусах, из трусов торчала белая, как тесто, культя, и дед сидел на стуле и плакал. А бабушка говорила с ним странным негромким голосом, и Дмитрий безошибочным детским чутьём уловил между ней и дедом напряжение какой-то до предела сжатой пружины

длиной в целую жизнь — именно того единственного, что и имеет право называться любовью…»

Внук

— В детстве вы много хлопот доставляли бабушке?

— Хочется сказать «нет», но прекрасно понимаю, что доставлял — и упрямством, и неважнецкой учёбой; но с другой стороны, если б меня не было — наверное, и бабушкина жизнь была бы лишена чего-то… Я имею в виду, что забота даёт смысл, наполняет нашу жизнь, спасает от одиночества.

— Марина Арсеньевна и Андрей Арсеньевич получали от родителей разные прозвища — например, Мышик и Рыська. Вам бабушка дала какое-нибудь?

— Нет, у меня не было подобного прозвания. Я звался Мишкой.

— «Бедное, глупое детство», — говорит в «Осколках зеркала», возможно, с грустной иронией, о своём детстве ваша мама Марина Арсеньевна. Вы своё назвали бы по-другому?

— Конечно! Какое-то заворожённое пространство… окутанное такой тайной и притяжением, что я долго не мог к нему прикоснуться. Конечно, у нас не было войны, голода, эвакуации, поэтому мне легко говорить про своё заворожённое состояние. Послевоенная пора была счастливой передышкой для нашего народа.

Коренная Россия

— Юрьевец, Козельск, Завражье… Вам не кажется, что Москва, как магнит вытягивающая население из малых городов, их просто отменила? Важнейший слой русской культуры, формировавшийся здесь, перестал плодоносить. И ваши с бабушкой постоянные поездки по городам и весям были её долгим прощанием — с той, старой, уходящей Россией?

— Я почему-то не думал с этой стороны — с точки зрения вытягивания… Наверное, для бабушки это было и жизнью, и прощаньем, и потребностью — поделиться с внуком, а может, и передать ключи… Но, по-моему, никто ничего не отменял, и сейчас старинные те места ещё больше излучают древней силы. А в Оптину со всей страны люди едут. Когда там бываешь, то силу земли ощущаешь гораздо сильней, чем в Москве, где урбанистический и транснациональный фон настолько заутюживает очаги чего-либо старинного, древле-живого, что выйти на них и припасть — отдельная работа.

Тоска

— Вспоминается также ваш рассказ о том, как ещё в молодости вы с приятелем-шотландцем приехали глубокой осенью в Игнатьево, на место съёмок «Зеркала», выпили там, вы вспомнили, как подростком жили вместе с бабушкой на съёмках фильма… Ностальгия вам свойственна? Как вы считаете: это действительно черта русского характера?

— Не сказать, что меня восхищает это слово («ностальгия»). Не совсем понимаю нужду его вводить для замены уже существующего и весьма точного русского слова «тоска». Тоска — по пережитому, по переживаемому. Разве что для экономии слов… Достоевский в начале «Подростка» обранивается о сочинителе, одержимом «тоской по текущему», — она, несомненно, является одним из главных условий существования художника, его формирования. Если честно, я не был в шкуре иностранца, поэтому не знаю, насколько они подвержены тоске. Допускаю, что тоска — свойство многих людей, но при этом русская тоска по Родине — это штука совершенно особая и вряд ли на что похожая. Опять же удивительно, как именно русские дерут порой за границу, будто не боятся себя. Может, ностальгия не у каждого в душе сидит? В общем, не знаю.

О тоске у меня — имею в виду тоску саму по себе, будто беспричинную: помню, наваливалась в детстве, и я на неё обращал внимание, подпадал под чары, а потом пошла жизнь, и я понял, что есть поважней вещи. А с другой стороны, она (тоска эта самая) настолько привыкла входить без стука, что я её моментально беру в оборот и приспосабливаю к делу (сочинительскому), что ей проще носу не казать.

Имена

— Кого из знакомых или известных людей бабушка ставила вам в пример?

— Своего сына Андрея ставила, но только не впрямую, а путём постоянных рассказов-воспоминаний о том, каким он был мальчишкой: как он хорошо пел, как запоминал мелодии с первого раза, какой был на все руки способный, как всем интересовался. Так порой хвалила, что я полным дуралеем себя чувствовал, но, слава Богу, не страдал ущемлением самолюбия и не переживал — жить было слишком интересно. Или рассказ о том, как Андрей Рублёв шарахнул о стену кусок глины, не в силах писать Страшный суд. Шарахнул (она показывает размашисто рукой). И всё! Без объяснений. Просто — называньем. Раз уж о Рублёве — просто говорила: «Троица», — как будто этого было достаточно, будто вбивала репер в душу: мол, смотри — я тут поставила бакен, потом разберёшься. У неё отсутствовала способность к пространным рассуждениям, раскрыванию смыслов. Она лишь обозначала направления.

А о людях-примерах — вообще солдаты, которые терпят. Суворов — это в случае прищемлённого

дверью пальца и моего воя, или когда пить охота. Кутузов, конечно же. Из писателей ей почему-то ещё и Горький нравился, не знаю только насколько. В Горьком-городе ходили в музей, когда путешествовали на пароходе по Волге.

— Вообще, был у Марии Ивановны любимый автор? В чём ваши литературные пристрастия расходились или расходятся сейчас?

— Пушкин, Толстой, Достоевский. Но, повторюсь, она не делала заявлений навроде: «Толстого я очень люблю». Она рассказывала о его героях, сначала, допустим, просто произносила имя, забивала образ, а потом могла пересказать кусочек сюжета. Наверное, само называние предполагало её расположение и к автору, и к героям. А герои книг были для неё старинные и абсолютно живые знакомые: Каратаев, князь Андрей, княжна Марья, Алёша Карамазов, старец Зосима. При этом она могла также умиляться каким-нибудь Дарреллом и его юмором, хотя, я думаю, внутри себя она понимала, кто чего стоит. Вообще, у неё не было границ, как у нас,— такого жёсткого и священного деления на русское — не русское, своё — не своё, какое бывает, когда крепко прижмёт враг и живёшь будто в оккупации. Тогда и русское, и советское семейно-многонациональное не находилось под таким ударом, как теперь, и они были дома и из его уюта позволяли себе интересоваться всем земным шариком. А может быть, сказывалось унаследованное отношение — такое… что ли, русский вселенский подход к культуре, о котором писали Достоевский и Блок. Да, в принципе, всё это одно и то же.

В шкале её ценностей главным было *упоминание* — эта забивка сваи, о которой я давеча говорил. Сваи были двух типов: сваи-имена — и сваи-книги, сваи-стихотворения. Сваями-именами были — Блок, Гумилёв, Толстой. Сваями-стихотворениями — «Дай, Джим, на счастье лапу мне…», «Белеет парус одинокий…», «Люблю грозу в начале мая…», «Ещё бокалов жажда просит…».

Совершенно не упоминала Бунина. Как будто его не было, хотя в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году уже вышел пятитомник. А насчёт несогласий с её пристрастиями… Сказать сложно. Она читала и давала мне читать огромное количество разной, даже, скажем, разносортной литературы. И образовательной, и переводной, и всякой-разной. Но мне сейчас трудно сказать о её истинном отношении к той или иной беллетристике.

Крещение

— Вашего дядю, Андрея Тарковского, родители крестили в православие вскоре после его рождения, в храме Рождества Богородицы в Завражье. Вы крестились самостоятельно, в православном храме Вильнюса, уже взрослым, женатым человеком. Можно сказать, почему этого не случилось в детстве?

— В детстве как-то вопрос не стоял… И я не знаю, почему бабушка меня не крестила… Скорее всего, в моё время уже общий фон не тот сделался. Примеров не было… а тогда ещё прабабушка Вера жива была. Ну да, никто и не повёл меня крестить… Может, это сложно было… А может, Господь Бог сам так управил — чтоб человек пошёл в храм осознанно. Когда подрос, и обозначился-вызрел круг представлений о мироустройстве. («Уважаемые пассажиры, наш самолёт набрал заданную высоту, можно расстегнуть привязные ремни и задуматься о главном…») Во многом, и даже в основном, круг этот был сформирован русской литературой, общим духом прежней жизни, образом русского человека именно как человека православного. И представлением о служении России именно в этом образе. И необходимостью принять эстафету. Хотя и окружающие люди тоже повлияли, конечно же. Да и походы в церковь с бабушкой.

Времена

— Не замечали, Мария Ивановна разделяла времена своей жизни на «хорошие» и «плохие», вспоминала какую-нибудь пору как самую важную или самую счастливую для себя?

— На плохие-хорошие — не знаю. Она никогда не жаловалась. Не рассуждала, не обобщала. Были обиды на людей… А по счастливой поре — возможно, это пора её жизни на Волге, уже взрослеющей, в последних классах школы.

— Вспомнить энтузиазм и жажду обновления, которые охватили значительную часть населения после революций тысяча девятьсот семнадцатого и Гражданской войны, и — разброд, шатание и апатию, постигшие нас после относительно мирного переворота тысяча девятьсот девяносто первого и распада Союза. Не думаете, что это очень похоже на завязку одной истории в тысяча девятьсот семнадцатом и её развязку в тысяча девятьсот девяносто первом? Истории, которая по завязке почти совпала с вхождением в жизнь ваших деда и бабушки?

— Мне кажется, чего-чего, а апатии не было в девяностых, были надежды, разочарования, но ярость и тугота выживания были настолько сильными, что с апатией были несовместимы… Была надежда на народное разрешение картины — за счёт энтузиазма, смекалки, трудолюбия. Про города не берусь судить, там было по-другому, но именно мы в те годы занимались освоением тайги, а кое-кто и освоением литературной тайги, поэтому никак не могу назвать апатичной ту пору, наверняка более жестокую в остальной, городской

России, чем в тайге… Эх, было наивное ощущение, что справимся сами, только не мешайте, не суйте несуразицу, а помогайте тем-то, тем-то, разумным. нужным. Ради нас, не ради себя… И, конечно же, была ещё и гордость за эту брошенность; наверное, в «Гостинице „Океан“» это ощущение… прописано.

А потом открылась сущность буржуазного переворота… Да, более, конечно, мирного, чем та революция, но обернувшегося скидыванием с корабля современности всей русской истории, уже и православно-самодержавной, и социалистической. Причём таким, я бы сказал, сподтишковым ползучим способом. При хороших вроде бы словах даже о патриотизме, но параллельном пересмотре вековечных основ. Вот, например, что любой школьник может в свободном доступе нарыть на экранчике телефона: «Энциклопедия юриста: „*Свобода совести — это свобода морально-этических воззрений человека (т. е. что считать добром и злом, добродетелью или подлостью, хорошим или плохим поступком, честным или бесчестным поведением и т. д.)*“». Ребят, это, без смеха, написано на третьей или второй позиции, как только наберёшь словосочетание «свобода совести». Вопрос задал мой сын — в школьной программе есть такая тема.

Поэтому, конечно, есть общее и в той революции, и в этой, за исключением одного важного момента: та революция совершалась во имя трудового народа. А эта во имя кого? Трудовой народ нынче с повестки дня вы-ки-нут.

Свет и любовь

— И всё-таки: один, для вас самый светлый и памятный, день, проведённый с бабушкой — можно назвать такой?

— Неохота, конечно, отнимать от книги раньше времени… Поход за грибами, когда я уже по-взрослому с ней соревновался… Ну и, конечно, Пасха в Новодевичьем и в Лавре в Ленинграде.

— В этом году исполняется сорок лет с того дня, как Мария Ивановна ушла из жизни. О чём вы спросили бы Марию Ивановну сегодня?

— Сокровенный вопрос. Сначала ломал голову… Потом перестал. Вот вопрос: чувствует ли она, как я её люблю.